

ЮРИЙ КАЗАКОВ, К. Г.
ПАУСТОВСКИЙ, МИХАИЛ
ПРИШВИН И ДР.

**БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ.
ЛУЧШИЕ ПОВЕСТИ И
РАССКАЗЫ О
ЖИВОТНЫХ
(СБОРНИК)**

Русская классика (Эксмо)

Лев Толстой

**Белый пудель. Лучшие повести и
рассказы о животных (сборник)**

«Public Domain»

Толстой Л. Н.

Белый пудель. Лучшие повести и рассказы о животных (сборник) /
Л. Н. Толстой — «Public Domain», — (Русская классика (Эксмо))

ISBN 978-5-699-81341-4

Самые известные и любимые рассказы о животных С. Аксакова, И. Тургенева, Л. Толстого, К. Ушинского, Н. Лескова, А. Куприна, М. Пришвина, К. Паустовского, Л. Андреева, Ю. Казакова в одной книге. Разные истории о диких и домашних животных, о наших любимцах и их характерах, их преданности своим хозяевам, об их сходстве и непохожести друг на друга.

ISBN 978-5-699-81341-4

© Толстой Л. Н.

© Public Domain

Содержание

Сергей Аксаков	6
Собирание бабочек	6
Иван Тургенев	35
Муму	35
Из «Стихотворений в прозе»	50
Собака	50
Воробей	50
Насекомое	50
Голуби	51
Дрозд	52
I	52
II	53
Лев Толстой	54
Холстомер. История лошади	54
Глава I	54
Глава II	55
Глава III	57
Глава IV	58
Глава V	59
Глава VI	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

**Сергей Аксаков, Леонид Андреев, Михаил
Пришвин, Иван Тургенев, Дмитрий
Мамин-Сибиряк, Константин Ушинский,
Николай Лесков, Александр Куприн,
Антон Чехов, Лев Толстой, Борис Житков,
Константин Паустовский, Юрий Казаков
Белый пудель (сборник)**

© Паустовский К.Г., наследники, 2015

© Пришвин М.М., наследники, 2015

© Казаков Ю.П., наследники, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Сергей Аксаков

Собирание бабочек

(Рассказ из студенческой жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшая мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечательно моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти две тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны: зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зук, *неизвестный* куличок, плотичка, пескарь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других новых и еще более важных интересов, которыми так богата молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство – и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик: вышли в свет «Записки об ужении рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения» понятие о червячках, которые превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле, из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, – бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весною! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли, – не успокаивала, не веселила сердца человеческого.

В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через несколько месяцев последовало его открытие; между немногими преподавателями, начавшими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной истории Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала затрудняли меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способствовало к ясному пониманию то обстоятельство, что Фукс читал по Blumenbach, печатные экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях, называется «Руководство к естественной истории Д. Ион. Фридр. Blumenbach, Геттингенского университета профессора и великобританского надворного советника с немецкого на русский язык переведенное истории естественной и гражданской и географии учителями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии у Вильковского. В Санкт-Петербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский, который и прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латинским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии преподавателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в университете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в высшей степени карикатурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать. Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не понимает его, хотя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам. Эрих даже и фамилии наши переименовывал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил. Тимьянский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания юношества увлекли меня в сторону, возвращаясь к предмету моего рассказа. Этот студент Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою латынь и стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле. Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание многих насекомых, и в том числе бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, раскладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года. Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские, и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана¹. Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые

¹ Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупились и записались в мещане.

насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног, и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену – и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятити их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они преследовали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстанавливался ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начинают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для раскладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом. Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обратился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание, а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это воспламенило меня еще больше, и я решил сейчас ехать к профессору Фуксу, который был в то же время доктор медицины и начинал практиковать. Я приехал к нему под предлогом какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохраненные и высушенные, такие прелестные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к естественной истории и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как приступить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на все механические мелкие ручные работы, – и потому выпросил позволение у Фукса привести к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профессор обещал при нас же разложить для сушки. А как я хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться бабочки, от тех червей, из которых выводятся другие разные насекомые, как их содержать, чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решились хранить в тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На другой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сделал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина которой должна быть соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки настолько, насколько было нужно для втыкания его в дерево. Пропустив кончик булавки сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторожность, необходимая для того, чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую дощечку (липо-

вая мягче других) с вынутыми во всю ее длину ложбинками²: пошире для бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы крылушки при-
шлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее крылья бабочки, при-
крепил сверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную иглу или шило (боль-
шая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья бабочки, сначала одно,
а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верхнее не закрывало нижнего, а только его каса-
лось; в заключение прикрепил, то есть воткнул булавку в нижний конец бумажки и в дерево.
Очевидно, что все умение и ловкость заключались в расправлении крыльев бабочки: надобно
было их не прорвать, не измять и не стереть с них пыль. Через несколько дней бабочка высох-
нет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка перемещается в ящик или шкаф, в
котором она должна храниться. Третью бабочку разложил Панаев, и с первого раза так искусно,
что Фукс, повторяя беспрестанно: «*Bien, très bien, parfaitement bien*»³ провозгласил, наконец,
торжественно: «*Optime!*»⁴.

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски и
дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно и
ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые *фунтовые*, булавки для раскладки
и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не проры-
валась, как это случалось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали двух сортов: одни с
длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие – натянутые, как рампетки, кото-
рыми играют в волан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на лету и
завертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку на землю, в
траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Первый способ оче-
видно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою с мешочком тре-
бовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и благодаря неусыпным,
горячим хлопотам моим, а также стараниям и умению моего товарища все было придумано и
устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько
экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы поло-
жили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание червей, до
превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение и тех и других, до
превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел особенную
охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрекнули слова
Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут самыми лучшими экзempla-
рами, потому что сохраняют всю первородную яркость и свежесть своих красок; что бабочки,
начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть стирают
или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают покрыты
их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и расправят
свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить
более двух месяцев, о чем сказано подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в пер-
вый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал
флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был некогда
моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня во

² Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.

³ Хорошо, очень хорошо, превосходно (*фр.*).

⁴ Замечательно (*лат.*).

флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весной, в Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, верстах в трех, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, называемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой⁵. Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: «Лодки пришли» мгновенно оживляет весь город⁶. По берегам Булака устраивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на Святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи или только внутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уток, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного, торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских – очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризалид и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для помешения, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растениями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагой, которою обвязывались стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно, моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и противный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже, что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для дневных, сумеречных и ночных хризалид были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном

⁵ Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляет переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку. Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.

⁶ Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».

с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травой. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и, к удовольствию моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере, вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десяток таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старше нашего и успело собрать до тридцати экземпляров тогда, когда у нас не было еще ни одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая – у своекоштных, то есть у меня и Панаева. Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытав еще настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь замечательных, – я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червяков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на шнурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой, в изобильное первоклассною, благородною дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле...⁷ И вот он, наконец, перед нами, старый, заглухший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Волховским⁸. Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходить друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка,

⁷ Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее трехдневное гулянье, начинавшееся с Троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.

⁸ Сады Волховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они составляют сад Родионовского института благородных девиц.

испуганная нашим преследованием, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, мелькнула перед моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привести ее в обморочное состояние; без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящичке и испортила бы свои бархатные крылушки. Эту дневную бабочку я сейчас узнал: она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом: она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит к числу замечательных русских бабочек; темно-кофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжевато-голубого цвета; края крыльев, и верхнего и нижнего, оторочены бледно-желтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, вырезанною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пятнушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не замечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками⁹. Я был очень доволен, что у нас есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издали, сошелся я наконец с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же ярко-голубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Волховский сад был нам хорошо известен; мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется, рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидеть в совершенных летах, после долгого промежутка, то место, где в ранней молодости часто гулял, или тот дом,

⁹ Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого, что многие дневные бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее (ибо они перезимовали), а осенних гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.

в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюрными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Волховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем дневные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полусгнившие местами заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря: «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно». Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших (старшие были также студенты), с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса; но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней¹⁰.

При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки; некоторые совершенно отдохнули, вероятно, бились и, по тесноте помещения, потерлись, то есть сбили пыль с своих крылушек; по счастью, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось двадцатью новыми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих, совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно дневные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не мог.

Вот те бабочки, которых можно было определить с достоверностью. Дневные: Капустная бабочка (*Brassicae*)¹¹, с черными кончиками и такими же двумя черными пятнушками; испод

¹⁰ Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П.: ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману и Бутлерову.

¹¹ Эти бабочки теперь не попадают в Казани.

крыльев желтоватый; ее не надобно смешивать с обыкновенной капустной бабочкой, которая имеет несколько видов. Бабочка Ио или Глазчатая Нимфа, довольно большая, очень красивая и редкая; крылушки у ней угловато-зубчатые, цветом темно-вишневые; на каждом крыле находится по большому глазку голубовато-лилового цвета, по которому сбоку идут по пяти маленьких белых пятнушек. Глазки на верхних крыльях имеют неполный желтый ободочек, а глазки на нижних крыльях – темный. Испод крыльев темный. Оторочка крыльев черная. На верхних крыльях, возле глазков, после темного промежутка, ближе к туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоске. Бабочка Галатея (Galathea), имеющая крылушки зубчатые, испещренная по бледно-палевому цвету черными пятнушками. На передних крыльях, с испода, находится по одному, а на нижних по пяти или более бесцветных очков или кружочков. Она также теперь в Казани не попадается. Бабочка С. (С. Album); ее поймал Панаев. Этой бабочке мы очень обрадовались, потому что, читая ее описание, нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С., да еще и с точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краям вырезаны уголками или городками; цветом желтовато-красная, с черными клетками и пятнушками, на нижних крыльях, по темному полю, с испода, очень ярко означена белым цветом буква С., и возле нее белая же точка. Бабочка Аглая (Aglaia), как называет ее Блуменбах, называлась у нас, со слов профессора Фукса, *перламутровою*. Крылья у ней кругловатые, желто-бурые, с черными пятнушками, правильно расположенными, как будто в графах; испод же крыльев, по Блуменбаху, «имеет на каждой стороне по 21 пятну серебряному», но в действительности цвет их похож не на серебро, а на перламутр. Их даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будет точнее, если сказать, что испод крыльев этой бабочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клеточки разной величины и фигуры, из коих некоторые кругловаты. Бабочка Проскурняковая (Malvae), названная так потому, что водится на полевых рожах, или проскурняке; она имеет темные крылья с белыми пятнами, зубчатые по краешкам. Сумеречных находилось три бабочки и одна ночная. Первая из них называется Олеандровая сумеречная бабочка (Nerii), и хотя сказано у Блуменбаха, что она водится на олеандре, следовательно, не должна жить в России, но ее зеленого цвета угловатые крылья с разными, то бледными, то темными, то желтоватыми, повязками, описанные верно у Блуменбаха, не оставляют сомнения, что это она и что она живет в Казанской губернии¹². Молочайная сумеречная бабочка (Euphorbioe) имеет довольно большие бурые крылья; на передних лежит поперек бледно-розовая, а на задних – красная струя или повязка; очень красива. Бабочка Барашек (Filipenduloe), в двух видах. У Блуменбаха описан только первый вид, большей величины, и она названа *не настоящей сумеречною бабочкою*, вероятно, потому, что хотя у нее крылушки длинны и она складывает их, как сумеречная бабочка, в треугольник, но усы толстые, булавообразные¹³ и летает она хотя мало, но днем, а в сумерки мне не случалось ее видеть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающую перелетом изумрудных букашек, не счел бабочкой; когда же она села на траву, то я разглядел ее и пришел в восхищенье! Верхние крылушки у ней точно бархат, зеленоватые, отливают голубым глянцем, и каждое крыло имеет шесть ярко-пунцовых точек или пятнушек, а нижние крылушки гораздо меньше верхних, чисто пунцовые, с узкой черной каемкой; все тело зеленовато-голубое с отливом. Второй вид Барашка был пойман Панаевым; он несколько поменьше, верхние крылушки коричнево-зеленоватые, с такими же красивыми пятнушками, а нижние бледно-розовые или желтовато-розовые. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли долго достать их. Но я всего более радовался Хмелевой ночной бабочке (Humuli), которую нашел в дупле старой липы. У нее была совер-

¹² Род Сфинкса. Около Казани ее уже нет, и она встречается не ближе Сарепты.

¹³ Вероятно, память обманывает меня: булавообразных усов у Барашка, по всем рисункам, нет, а есть обыкновенные усики сумеречных бабочек, широкие в середине и узенькие к концам.

шенно совиная головка, тело красно-желтое, а крылья белые, как снег, с верхней стороны, а с испода темно-бурые; вдобавок она была так свежа, как будто сейчас вывелась. По Блуменбаху, это был самец, самка же красновато-желтого цвета.

Разложивши бабочек, досыта налюбовавшись ими и пообедав на скорую руку с другом моим Панаевым (братья его давно уже отобедали, зная наперед, что мы вернемся поздно), я поспешил домой: мне нужно было разместить моих червячков и куколок; и тех, и других нашлось до тридцати штук. Хризалид дневных бабочек я старался развесить¹⁴ на стенках или приклеить к верхней крышке ящика, который нарочно открывался сбоку; но это было очень трудно сделать, потому что клейкая материя, похожая на шелк-сырец, которою червячки приклеивают свой зад к исподу травяных и древесных листьев, а в дуплах и щелях – к дереву, уже высохла, и хотя я снимал хризалид очень бережно, отделяя ножичком приклейку, но, будучи намочена, она уже теряла клейкость, не приставала и не держалась даже и на стенках ящичка, не только на верхней крышке. Впоследствии Панаев придумал приклеивать их вишневым клеем, что вышло очень удобно. Куколок же сумеречных бабочек, закутанных в каком-то пухе или гнезде, и куколок ночных бабочек, которых было у меня всего две и которые лежали в кругловатых яичках, оболочка которых была очень крепка, – я положил в особый ящичек, прикрыл их расщипанной хлопчатой бумагой и защитил от влияния света, потому что ночных хризалид всегда находишь в густой тени.

На другой день поутру явились мы с Панаевым в университет за полчаса до начала лекций, чтобы успеть рассказать о своих приобретениях и чтобы узнать, удачна ли была ловля наших соперников: мы знали, что они также собирались идти за город. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей стороне. Но только мы вошли в дортуары, как несколько человек студентов, принимавших более живое участие в предприятии Тимьянского и Кайсарова, встретили нас громкими восклицаниями: «Ну, господа, каких бабочек поймал Тимьянский с Кайсаровым, так это чудо! Вам уж эдаких не достать; и какую пропасть наловили всяких редких насекомых! Они и теперь возьмется с ними наверху, в аудитории Фукса; даже Кавалера Подалириуса достали!»¹⁵ Мы с Панаевым были очень озадачены и смущены таким известием. Особенно Кавалер как громом поразил нас. Тут узнали мы от своих словоохотливых товарищей, что вчера Тимьянский и Кайсаров, вместе еще с тремя студентами, Поповым, Петровым и Кинтером, уходили на целый день за город к Хижицам и Зилантову монастырю (известное место, верстах в четырех или пяти от Казани), что они брали с собой особый большой ящик, в котором помещались доски для раскладывания бабочек и сушки других насекомых, что всего они набрали штук семьдесят. Мы поспешили наверх и там своими глазами убедились, что торжество было на стороне наших противников. Они поймали по несколько экземпляров всех бабочек, пойманных вчера мною и Панаевым, кроме Барашков и Хмелевой ночной бабочки, да сверх того более десяти не известных нам видов, в том числе двух Кардамонных бабочек, бывающих не каждый год в окрестностях Казани; но что всего важнее: они поймали Кавалера Подалириуса. Когда я взглянул на него, во всей красе и величине разложенного на доске, со шпорами на задних крыльях, сердце у меня забилося от удовольствия и зависти! Надобно сказать, что во всем многочисленном царстве бабочек находится, по Блуменбаху, только четыре Кавалера; первый из них называется «Приам, бабочка Кавалер Троянский (так говорит Блуменбах), у коего крылья зубчатые, пушистые, сверху зеленые, с черными полосками, а задние с шестью черными пятнами. Водится в Амбоине. Он так, как и следующая порода, есть самое большое великолепное насекомое». Второй: «Улис, бабочка Кавалер Ахивский, у коего крылья бурые с хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя их сторона синяя, блестящая и с зубчиками. Задние крылья имеют по

¹⁴ Потому что они сами всегда устраивают себя в висающем положении.

¹⁵ У Блуменбаха, в русском переводе, он назван *Подалирий*, но мы всегда произносили по-латыни: *Podalirius*.

семи глазков. Водится также в Амбоине». Уже из этого краткого и скудного описания можно себе вообразить, что за красивые, прелестные создания эти два Кавалера. Фукс видел их и говорил, что они величиною с летучую мышь и так хороши, что трудно описать¹⁶. «Третий Кавалер, Махаон, и четвертый, Подалириус, водятся в Европе» – и одного-то из них удалось поймать нашим соперникам! Не зная тогда, что последние два вида Кавалеров водятся везде в России и что они не слишком редки, мы с Панаевым не могли не завидовать счастью Тимьянского, поймавшего чудного Подалириуса.

Тимьянский видел наше смущение и с торжествующей улыбкой сказал: «Вот, господа, я вам показываю всех наших бабочек, покажите же и вы нам своих». Панаев отвечал, что экземпляров у нас мало, следовательно показывать нечего, но что, пожалуй, мы привезем завтра или послезавтра, когда бабочки все высохнут, особенно одна, очень толстая, Хмелевая бабочка. «Разве у вас есть Ночная Хмелевая? – спросил Тимьянский с удивлением. – Ведь это редкость!» Я отвечал, что есть, что я нашел ее в дупле и совершенно свежую, то есть не потеряю. Заметно было, что Тимьянский в свою очередь позавидовал Хмелевой бабочке; это нас утешило. Когда же мы вышли, то Панаев весело сказал мне: «А видел ли ты, как нечисто, неопрятно разложены у них все бабочки? Ведь они нашим в слуги не годятся!» Хотя я не обращал на это обстоятельство особенного внимания, но тут припомнил, что Панаев совершенно прав, – и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорские лекции.

На другой же день нам удалось умножить наше собрание еще тремя сумеречными, необыкновенно красивыми, бабочками, которых и воткнуть иначе было нельзя, как на самые тоненькие кружевные булабочки, по миниатюрности их тела. При раскладке их Панаев вполне выказал свою ловкость и умение. Я поймал их в оврагах около моей квартиры, куда заглянул случайно. Солнце было еще высоко, а в оврагах была уже тень, и сумеречные бабочки начали летать.

Через два дня повезли мы наш ящик, с тридцатью пятью экземплярами бабочек, в университет, на показ своим товарищам. В одну минуту все сошлись посмотреть их, и, конечно, всякий видел превосходство нашего собрания относительно целостности, свежести и правильности раскладки наших бабочек; особенно нельзя было не удивляться маленьким прелестным ночным бабочкам, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечных булабочек, на которых они торчали, совсем было незаметно. К этому надо прибавить, что ящик, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замок – все было прекрасно благодаря попечениям Панаева. Разумеется, наружность бросилась в глаза всем; но Тимьянский очень хорошо видел, понимал и ценил, так сказать, внутреннее достоинство нашего собрания. Не без досады и, может быть, зависти, он холодно хвалил наших бабочек, особенно Ночную Хмелевую и Барашков, но сделал замечание, что бабочки слишком вычурно разложены, как-то напоказ, и что им дано неестественное положение. Если в последнем обвинении была своя доля правды, то это не наша вина: этот способ был принят всеми натуралистами. Я поспешил сказать о том в наше оправдание и прибавил в оправдание натуралистов, что дневные бабочки часто принимают точно такое положение, в каком раскладываются; что, конечно, сумеречные и особенно ночные бабочки, когда сидят, не расширяют своих крыльев, а складывают их повислым треугольником, так что нижних крыльев под верхними не видно; но если их так и высушивать, то они потеряют половину своей красоты, потому что нижние крылья бывают часто красивее верхних, и, что, глядя на такой экземпляр, не получить настоящего понятия о бабочке. «Да ты разве не так же раскладываешь? – сказал Панаев. – Верхние крылушки у тебя так же приподняты, а только нижние висят. Это разве естественное положение?» Но Тимьянский не соглашался и доказывал, что его способ раскладывания гораздо натуральнее; многие приняли его сторону, многие нашу, из

¹⁶ Теперь считается до десяти видов Кавалеров, водящихся в Европе; китайские же бабочки (*Aglaia* и *Strex*) превосходят их величиною вчетверо.

этого вышел спор, и мы расстались с своими соперниками хотя без явного неудовольствия, но с холодностью. Впоследствии они прозвали нас «богачами-щеголями» и называли так даже в глаза, что, признаюсь, было мне очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящик наш, пожалуй, можно было назвать щеголеватым, но несколько не богатым; все достоинство заключалось в чистоте отделки, до чего Панаев был большой охотник и за чем сам заботливо смотрел. Один из студентов, принадлежавший к противной партии, Михайло Пестяков, прозвал наше собрание бабочек «дворянским». Это прозвище также было в ходу, потому что, как нарочно, все наши противники были разночинцы, от которых мы с Панаевыми отличались в гимназии красными воротниками; это было очень прискорбно, потому что прежде у нас никогда не было слышно ни одного слова и даже намек на различие сословий. Благодаря бога все эти несколько неприятные отношения впоследствии исчезли, и мы уже соперничали дружески в общем деле, не завидуя друг другу. Кроме бабочек, которых у Тимьянского было более пятидесяти, он набрал уже около сотни разных насекомых: некоторые блистали яркими радужными красками, особенно из породы жуков, божьих коровок, шпанских мух и также из породы коромыслов; а некоторые отличались особенностью и странностью своего наружного вида; но все они мне не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! – вот к чему я привязывался с каждым днем более.

При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город; посетили сад Нееловский, Госпитальный и даже сад Чемесова, который был, впрочем, не за городом, а на краю города; бабочек в последнем мы нашли мало, но зато долго любовались на сотни кроликов, которым был отведен во владение довольно высокий пригорок или холм (не умею сказать, натуральный или искусственный), обнесенный кругом крепким забором. Кроликов развелось там невероятное множество; вся гора была изрыта их норами; они бегали целыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первом шуме или стуке, который мы от времени до времени нарочно производили, эти трусливые зверки пугались и прятались в свои норы¹⁷.

Мы ходили с Панаевым также на пасеку, или посеку, и находящиеся по обеим ее сторонам гористые места, или, лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым лесом, за которыми впоследствии утвердилось название Казанской Швейцарии, данное нами, то есть казанскими студентами. До сих пор эти места служат любимым гуляньем для жителей Казани. Я слышал даже, что это место разделяется на две половины: одна называется Немецкою, другая Русскою Швейцариею; последняя ближе к городу. Поиски наши были более или менее удачны, и мы, мало-помалу, приобрели всех тех бабочек, которые находились в собрании Тимьянского и которых нам недоставало, кроме, однако, Кавалера Подалириуса. Мы даже не имели надежды достать его, потому что появление Кавалера в окрестностях Казани считалось тогда редкостью. Кавалер Подалириус торчал, как заноза, в нашем сердце! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, как-то очень мила. Ее кругловатые, молочной белизны крылушки покрыты каким-то особенным, нежным пухом; на каждом верхнем углу верхнего крыла у ней находится по одному пятну яркого оранжевого цвета, а испод нижних крыльев – зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первых, бабочку Ирису; крылья у ней несколько зубчатые, блестящего темно-бурого цвета, с ярким синим яхонтовым отливом; верхние до половины перерезаны белой повязкою, а на нижних у верхнего края находится по белому очку; особенно замечательно, что испод ее крыльев есть совершенный отпечаток лицевой стороны, только несколько бледнее. Еще красивее бабочка Аталанта, или Адмирал (Atalanta). У ней крылья также зубчатые, черные с лоском, испещренные белыми пятнушками; во всю длину верхних крыльев лежит повязка ярко-пурпурового цвета, а на нижних крылушках такая же повязка, только с черными пятнушками, огибает их боковые края. Надобно признаться, что

¹⁷ Чемесов сад существует и теперь, но находится в большом запущении, и кроликов уже давно нет.

у нас и у Тимьянского было много бабочек безыменных, которых нельзя было определить по Блуменбаху и которых профессор Фукс не умел назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, так что и сажать более было некуда. Многие превращались в куколок, а многие умирали, вероятно, от недостатка свежего воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растение, которым они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растение, потому что не знали названия гусеницы. Я обыкновенно набирал всяких трав и старался только чаще их переменять. Каждый день, по нескольку раз, наблюдал я за моими питомцами, и это доставляло мне большое наслаждение. Те червяки, которые попадались мне в периоде близкого превращения в куколок, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшие к породам бабочек дневных, всегда имевшие гладкую кожу, прикрепляли свой зад выпускаемой из рта клейкой материей к стене или крышке ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части в продолжение суток спадала с них сухая, съездившаяся кожица гусеницы, и висела уже хризалида с рожками, с очертанием будущих крылушек и с шипообразною грудкою и брюшком; многие из них были золотистого цвета. Можно себе представить мою радость, когда, вместо мнимо умиравшего жалкого червяка, вдруг находил я миловидную куколку. Гусеницы сумеречных бабочек, более или менее волосистые, где-нибудь в верхнем уголку ящика, или под листом растения, положенного для их пищи, заматывали себя вокруг тонкими нитями той же клейкой материи, с примесью волосков, покрывавших туловище, – нитями, иногда пушистыми, как хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху белым, несколько блестящим лаком, что давало им вид тонкой и прозрачной, но некрепкой пелены. Гусеницы ночных бабочек, почти всегда очень мохнатые, кроме немногих исключений, устраивали себе скорлупообразные яички, или коконы, ложились в них, закрывались наглухо и превращались в куколок; у обеих последних пород свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вместе с хризалидой внутри гнезда. Сумеречные и ночные куколки имели гладкую овальную наружность без всяких угловатостей и выпуклостей, но также с очертанием головы, крыльев, усиков, ножек и брюшных колец. Цветом они бывают всегда темные, а некоторые породы ночных совершенно черные. Червяки молодые, которым должно было прожить до превращения в хризалиду определенный, весьма различный срок времени, если не погибали от голода и духоты, то два или три переменяли на себе кожу и всякий раз перед такой переменой впадали в сон или обморочное состояние, не прикрепляя, однако, своего тела ни к какому предмету. Вероятно, сначала я выкидывал некоторых, считая их уже умершими. Обновленный червяк, казавшийся сначала слабым или больным, выходил всегда цветнее, пушистее прежнего, с невероятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Из числа тех хризалид, которые превращались из червяков не у меня, а на воле, выводились иногда какие-то летучие тараканы, отвратительные по своей наружности. Из этого должно заключить, что куколки их похожи на бабочкины, потому что я не мог различить их¹⁸. Выводились также иногда бабочки-уродцы: с одним маленьким крылом, или совсем без одного крыла, или с таким, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутым в трубочку. Фукс не мог удовлетворительно объяснить мне причины таких явлений. Я предполагаю, что хризалиды бабочек-уродцев были как-нибудь помяты или зашиблены и что оттого крылушко на больной стороне не достигало полного своего развития. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка, по большей части в ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала из себя множество яичек, из которых впоследствии образовывались крошечные червячки; это и не удивительно, потому что

¹⁸ Вот как тот же почтенный молодой ученый, о котором я уже говорил, Н. П. В., объясняет это странное явление: «Существует четырехкрылое насекомое, называемое *Наездник*; оно кладет свои яйца в гусеницы бабочек; вышедшие из этих яиц червячки живут в гусенице и питаются ее внутренностями, что не мешает ей превратиться в куколку. В ней совершается превращение червячков *Наездника*, которые потом и выходят из нее, так что вместо ожидаемой бабочки является отвратительная оса, или *Наездник*».

бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вот что достойно замечания, что выведшаяся у меня ночная свечная бабочка, через несколько часов разложенная, также при этой операции выпустила из себя яички, из которых впоследствии вылупились червячки¹⁹. Недавно открыто подобное изумительное явление не только в пчелиных матках, но и в рабочих пчелах²⁰, доказывающее глубокую экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собрание бабочек ни в чем уже не уступало собранию Кайсарова и Тимьянского (кроме, однако, Кавалера), а, напротив, в свежести красок и в изяществе раскладки имело большое преимущество, повезли мы с Панаевым уже два ящика бабочек на показ Фуксу. Профессор рассыпался в похвалах нашему искусству и особенно удивлялся маленьким сумеречным бабочкам, которые были так же хорошо разложены, как и большие. Он очень жалел, что мы не собирали и других насекомых.

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и переверкала голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззаботного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил за город, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половине июня, вместе с неразлучным моим спутником Панаевым, рано утром вошел в тенистый Нееловский сад. В прежние годы я не замечал такой перемены.

На сей раз добыча наша была незначительна. Вообще это посещение Нееловского сада осталось памятно для нас неудачами и обманутыми надеждами: Панаев видел Кавалера, но не мог поймать, а я совершенно испортил превосходную розовую ночную бабочку, названия которой не знаю, но которую очень помню особенно потому, что впоследствии имел ее в руках. Нееловская розовая бабочка была замечательной величины, втрое больше розовой свечной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетает на горящую свечку и обжигает свои крылушки; а испорченная мною была редкая бабочка; яркого алого цвета, бархатная пыль покрывала все ее крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тем, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взял ее очень бережно, подавил грудку и как-то уронил в траву; отыскивая, я наступил на нее ногой – и уничтожил прелестное создание. Смешно вспомнить, как я был огорчен этой потерей и как долго я не мог утешиться. В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую под широким листом векового клена. По старой охоте, я поймал, разложил, высушил и подарил одному любителю натуральной истории.

Время лечит всякие язвы, и мы с Панаевым примирились с мыслию, что у нас нет Кавалера, а может быть, и не будет. Тимьянский также примирился с общим мнением, что наши

¹⁹ Несение неоплодотворенных яиц, из которых развивались гусеницы, было давно известно и впервые подмечено у *тли* и очень маленькой породы бабочек *Psyché*. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно с открытием подобного явления, о котором сейчас будет сказано, оно было замечено у шелковичной бабочки.

²⁰ Брошюра «Три открытия в естественной истории пчелы», написанная незабвенным, так рано погибшим, даровитым профессором Московского университета, К. Ф. Рулье, напечатанная в Москве 1857 года.

бабочки лучше, и утешился тем, что он собирает всех насекомых, а мы только часть их, что целое гораздо важнее части.

У нас в университете шли экзамены, которые не имели и не могли иметь формы и условий настоящих университетских экзаменов. Это были семейные, дружеские испытания, или, лучше сказать, это было обозрение всего того, что профессора успели прочесть, а студенты усвоить себе из выслушанного ими. Разделения предметов на факультеты не было, а следовательно, не было ни курсов, ни переходов на них. Конечно, это было детство возникающего университета, но тем не менее тут было много добрых, благотворных начал, прочно подвигавших на пути образованности искренно желавших учиться; немного было приобретено сведений научных, но зато они вошли в плоть и кровь учащихся, вполне были усвоены ими и способствовали самобытному развитию молодых умственных сил. Предметы преподавания до того были перепутаны, и совет испытателей смотрел на это так не строго, что, например, адъюнкт-профессор И. И. Запольский, читавший опытную физику (по Бриссону), показывал на экзамене наши сочинения, и заставил читать вслух, о предметах философских, а иногда чисто литературных, и это никому не казалось странным. И. И. Запольский любил пофилософствовать, он был последователь и поклонник Канта; на каждой лекции о физике он как-нибудь припутывал «критику чистого разума». Один раз разговорился он о действующей и конечной причине и потом предложил нам, чтобы каждый из нас, кто понял его слова и кому предмет нравится, написал о нем хоть что-нибудь и показал ему. Написали человек десять, в том числе и я; и каково же было мое удивление, когда в числе студентских сочинений, читанных на экзамене, попались и мои три странички о действующей и конечной причине! Вероятно, это было самое ребячье и поверхностное понимание предмета. Адъюнкт русского красноречия Л. С. Левицкий, читавший по программе философию и логику, уже давно не занимавшийся своими лекциями и почти переставший ездить в университет, притащился, однако, кое-как на экзамен и перепугал нас своим болезненным видом. Вместо российской словесности он произвел экзамен в логике, которую прежде проходил с нами по рукописной тетрадке, в самом сокращенном объеме; разумеется, он предупредил нас, чтобы мы приготовились к экзамену из логики. Фукс торжествовал с своей натуральной историей, и наши бабочки, и гусеницы, и другие насекомые – все пошли в дело. Тимьянский отличился обширностью своих знаний и латинским языком, но и мне досталось рассказать о моих наблюдениях над воспитанием червей, превращением их в хризалиды и бабочки. Все меня похвалили, даже и те профессора, которые не знали ни одного русского слова, а я говорил, разумеется, по-русски. Лучшим экзаменом, без сомнения, был математический, у Г. И. Карташевского, но я не повинен был в этом блеске и даже не являлся на экзамен. Этот предмет у нас шел блистательно.

По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылil и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, куда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным – и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и мгновенно разрубает крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть, и никогда, не были бы распутаны.

В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не

пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? – и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя перевернувшегося с одного цветка на другой великолепного Кавалера... Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника... Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки – и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове – и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как иступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» – и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич знал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, – дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, – надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо знакомый дом. Вбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою... «Что с тобой?» – закричал я. «Я пропал, – с отчаянием отвечал Панаев, – брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок глаза фарфоровым верешком. Если я окривею – я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упрямил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости, я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказала, и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, – отвечал я, – на этот раз

сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он...» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», – сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, – никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!

Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (*Ligustri*) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузьяке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темно-серого цвета, с белыми пятнами или матово-белые с темными пятнами: я потому говорю *или*, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровавые, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовую. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее ночною. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.

На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойдик-да достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»

Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисайловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.

Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Сибирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жили их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящичков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось²¹, да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадыю. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заниматься моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно,

²¹ Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.

вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении – это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так, что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, был ли у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраняю... Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, что бы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, – так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятилетней школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно... стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить, и ночевать в поле; с ними были и удочки, и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на

почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.

Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение... Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадки-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русской песней. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарей. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слышал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро неслось небольшое грозное облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловеющий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди

засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти непрерывною, то и креститься перестали... Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы, и ничтожность, незащитность человеческой природы так явно изобличались и чувствовались мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо отрадного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь, и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весною; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья – солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублей, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды: в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.

На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», – прибавил он в заключение. Слова его заста-

вили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно взглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыводился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?

Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слышал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожидаемое мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.

Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытной жизнью. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услышал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студенческих спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек

и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собраний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.

Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковым! Там были река, огромный пруд, купанье, ужение и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по несколько штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов! молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лет стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастью, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводить было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах деревьев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководства, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волоса-

ной хоботок, толстые усики и ножки²². Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (*Huperanthus*). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темно-сизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светло-бурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища²³. Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светло-бурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял вверх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле, и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокро, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светло-коричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать²⁴. Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у

²² Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (*Liparis Salicis*).

²³ Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.

²⁴ Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев, я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».

Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастья отуманила меня... Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.

Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.

Имея в руках Блуменбаха, Озерецковского и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности, подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и острокопечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям, вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же – цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синию же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме уже Махаона. Для меня он даже красивее.

Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окны были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом

потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незваную гостью. Но, взглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать»... – все расхохотались, и мать, зная мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, *огромнейшую и чудеснейшую*, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин (*Pavonia*) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина²⁵ и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с меленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Испод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледно-пунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру²⁶; если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.

Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белую бумагою, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довести до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать!

²⁵ Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.

²⁶ Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.

Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись поддержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется, с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды, и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, – я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», – и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». – «Ну, так показывайте», – сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» – возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, – сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, – после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» – прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать – это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (Polichloros), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая денная бабочка, которую с грехом пополам мы называли Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темно-синими блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперец черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это

могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, *хорошего*, то есть яркого темно-красного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке, или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смо-родинную Геометру (*Grossulariata*), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (*Ce 1erio*); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям²⁷. Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (*Stellatarum*), по необыкновенно бородастой груди, мохнатуому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили нумера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.

Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попалося нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и бледнее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.

В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.

В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Друг мой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим

²⁷ Бабочка эта, то есть Сфинкс, *Ce 1erio*, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.

университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей – он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературой, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже художавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков – пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.

Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до него и сил – пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории – ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть – иначе я не могу назвать ее – ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, – благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.

Москва, Петровский парк, 1858 год, 21 июля

Иван Тургенев

Муму

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолюю и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо в Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле... Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое делается, – скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, – взяли, поставили на вагон железной дороги – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его: даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких: он считал их за

своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и расудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбаках, – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, наминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскивали где-то на улице.

– А что, Гаврила, – заговорила она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.

– Да; только кто за него пойдет?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинкой на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки

никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли – вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смиренного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений – бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалялся с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалуется Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему

узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкнешь; ведь его, черта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.

– Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила, – ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои запла- танные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

– А что-с?

– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», – подумал он опять про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврила, – ведь опять? А? ну отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают – вот что; а в Питере еще был в ученье... Многому ты выучился в ученье. Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам господь бог – и больше никто. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства – то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я...

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне... – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

– Как не понимать-с.

– Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? Ты согласен?

Капитон осклабился.

– Жениться дело хорошее для человека, Гаврила Андреевич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну, да, – возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух, – невесту-то тебе приискали неладную.

– А какую, позвольте полюбопытствовать?..

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

– Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смирная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

– Знаю, брат, все знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь...

– Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, – хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь все нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай...

– Господи боже мой! – с жаром продолжал башмачник, – когда же конец? когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В молодых годах был я бит через немца хозяина; в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

– Эх ты, мочальная душа, – проговорил Гаврила. – Чего распространяешься, право!

– Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится...

– Ну, пошел вон, – нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вслед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврила Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек – это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с.

– Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой...

– Убьет, Гаврила Андреич, бесприменно убьет.

– Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! Ведь ты ему этак ничего не обещала...

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал: «Безответная ты душа!»

– Ну, хорошо, – прибавил он, – мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша: я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что – в полицию знать дадим...»

– Устинья Федоровна! – крикнул он громким голосом своей жене, – поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтеньем обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай, для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе: но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагруженный человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом взгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал

как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он все не пропадет; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слов: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и шурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясаясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомцей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь благодаря неусыпным попечениям своего спасителя превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, – он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Муму-ней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней – бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с

довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме нее, на дворе старый пес желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями...

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), – и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела ее.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н... н... е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немного.

– Боже мой! – прервала барыня, – да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она, – приведите поскорей Муму! Она в палисаднике.

– А ее Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хорошее имя.

– Ах, очень-с! – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая... не бойся...

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей что-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! к барыне не идет. Чего боится?

– Они не привыкли еще, – произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и все дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки, – не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

– Отнести ее вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову», – и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, – а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? мне спать не дала!

– Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, – произнес он не совсем твердым голосом.

– Не знаю, немного ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желая знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме – вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, – а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

– Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полужезвком, полу-

хохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу – туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками... Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промышчал еще раз: «Муму!» – Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный фореитор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил... Перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятьях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилась, – и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что про-

ведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил – словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму наострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилося и замерло. «Девки, девки! – простонала она. – Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох!» – и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно братья за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, – этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную, старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот... вот... опять...» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуввав сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломались в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет и чтобы барыня сделала милость не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала – через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

– Любовь Любимовна, – начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, – Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, – прибавила

она с выражением глубокого чувства, – подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

– Отвори.

Послышался сдавленный лай; но ответа не было.

– Говорят, отвори! – повторил он.

– Да, Гаврила Андреич, – заметил снизу Степан, – ведь он глухой – не слышит.

Все рассмеялись.

– Как же быть? – возразил сверху Гаврила.

– А у него там дыра в двери, – отвечал Степан, – так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это навверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила, – а караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку, в желтом нанковом казакине, который считался садовником, – что тебе делать? Возьми палку да сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал фореятора к хозяину. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами, молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидел издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. По дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанные к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажень на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, прикинул головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относил назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не слышал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая

тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о борта лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

– Ну, да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка, – можно ли эдак из-за собаки прокляжаться!.. Право!

– Да Герасим был здесь, – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в станковую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т... у шоссе усердно и безостановочно шагала какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезающего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу – дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расхажившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст...

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки – и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да заголубы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне.

Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака – на что ему собака? к нему на двор вора беселом не затащить!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

1852

Из «Стихотворений в прозе»

Собака

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воеет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною – и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает – но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

Февраль, 1878

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуя перед собою дичь.

Яглянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса – и удалился, благоговей.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878

Насекомое

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете – говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два длиною... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта, и лапки – ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате – и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас не видал ничего подобного, все кричали: «Гоните вон это чудовище!», все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало – все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами стало и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого – не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг насекомое словно устало на него, взвилось и, прикинув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул – и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья.

Май, 1878

Голуби

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною – то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило – горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Все притаилось... все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий, крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. «Ну скорей же, скорей! – думалось мне, – сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!»

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел все прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений – та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя.

И вот наконец сорвалась буря – и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии спят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя – и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба – и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...
Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хотя я и один... один, как всегда.
Май, 1879

Дрозд

I

Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих, в ненастный день, по вершинам серых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какую можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно моложавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, над самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал – немолчно, громко, самоуверенно – черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

Они дышали вечностью, эти звуки, – всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался – и не кончился никогда.

Он пел, он воспевал, самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередой, блеснет неизменное солнце; в его песне не было ничего *своего*, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, порванной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня, да я и не искал утешения... Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижимое, мертвое бремя. Ах! и то существо – не так же ли оно молодо и свежо, как твои ликующие звуки, передрагсветный певец!

Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал как ни в чем не бывало свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец солнце! Но я улыбался по-прежнему.

8 июля 1877

II

Опять я лежу в постели... опять мне не спится. То же летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон; и опять под окном моим поет черный дрозд – и в сердце горит та же рана.

Но не приносит мне облегчения песенка птицы, и не думаю я о моей ране. Меня терзают другие, бесчисленные, зияющие раны; из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесконечно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улицы.

Тысячи моих братьев, собратов гибнут там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братьев, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.

Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.

Ни правых тут нет, ни виноватых: то молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зерном ли – покажет время. Что же значат мои раны? Что значат мои страдания? Я не смею даже плакать. Но голова горит и душа замирает – и я, как преступник, прячу голову в постылые подушки.

Горячие, тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам... скользят мне на губы... Что это? Слезы... или кровь?

Август, 1878

Лев Толстой

Холстомер. История лошади

Посвящается памяти М. А. Стаховича

Глава I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненное становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

– Но-о! успеешь! проголодались! – сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

– Но-о! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

– Балуй! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особым соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщицкой посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька!

Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пушай наперед матки пройдут» – и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалуня, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», – рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.

Глава II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» – проговорил Нестер. Мерин же несколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамилльярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделявали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложнее и просторнее берег и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду

сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намотить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого – но менее двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клочок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посередине росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фыркание, молодое ржание, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Глава III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Каракровая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, – щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотою гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного

сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укунить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только поугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначашее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издали донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую

сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопровождаемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

Глава V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

Ночь 1-я

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не

узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебеда.

Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под коягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь, чертенок, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

– Вишь, какой шустрый, – говорил конюх, – не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

– И в кого такая уродина, – сказал он, – генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, – обратился он к моей матери. – Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

– И в какого черта он уродился, точно мужик, – продолжал он, – в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, – говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», – повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка – Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком – милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесом и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздки, – и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, – но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами – и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику, по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подружки и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. – Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI

Ночь 2-я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

– В августе месяце нас разлучили с матерью, – продолжал пегий, – и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое, – и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевиной нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был все-

гда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошастью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издали еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной – все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, – но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное – смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцей, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми, – теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

– Кабы не этот коростовый, – сказал он, – ничего бы не было.

– А что? – спросил другой конюх.

– Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день навевывает.

– Разве отдали ему пегого-то? – спросил другой.

– Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори – ничего, а вот как смел его жеребенку корму не дать. Ложись, – говорит, – и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего*, *его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодой; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошастью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошастью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как

можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же – делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным меринком, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.